

Vol.

Алексей Конаков

Табия
тридцать
два

Фантастическая опера

Individuum, 2024

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2)
К64

К64 Конаков, Алексей.
 Табия тридцать два. Роман / Алексей Конаков. — М. : Индивидуум,
 2024. — 288 с.

ISBN 978-5-907696-51-8

2081 год. После катастрофы страна была изолирована от внешнего мира. Русскую литературу, объявленную источником всех бед, заменили шахматами, а вместо романов Толстого, Достоевского и Тургенева в школах и университетах штудируют партии Карпова, Спасского и Ботвинника. Кирилл изучает историю шахмат в аспирантуре, влюбляется, ревнует и живет жизнью вполне обыкновенного молодого человека — до тех пор, пока череда внезапных открытий не ставит под угрозу все его представления о мире. «Табия тридцать два» Алексея Конакова — это и фантазмагорический роман-головоломка о роковых узорах судьбы, и остроумный языковой эксперимент по отмене имперского мышления, и захватывающая антиутопия о попытках раз и навсегда решить вопрос, как нам обустроить Россию.

Алексей Конаков — литературный критик, эссеист, поэт, независимый исследователь позднесоветской культуры, лауреат премии Андрея Белого, соучредитель премии имени Леона Богданова.

УДК 821.161.1
ББК 83.3(2)

 **individuum Vol.**

ISBN 978-5-907696-51-8

© А. Конаков, 2024
© ООО «Индивидуум Принт», 2024

Вместо неухоженного города, разоренной страны, холодной весны; вместо тайно движущихся материковых плит, летящих из космоса элементарных частиц, вспыхивающих звезд и вращающихся планет; вместо самой бесконечной Вселенной — было одно счастье.

Счастливым, Кирилл выходил из дома, глядел на часы, спешил на трамвай.

Счастливым, забывал читать специально взятую («трамвайную») книгу.

Счастливым, искал огонек в том окне близ Петровской набережной.

Вскачь на третий этаж с бутылкой вина (прекрасный букет, скажет потом Майя), все плывет и катится перед глазами; паролем — легкий стук в дверь, отзывом — поцелуй.

Поцелуй.

(Ою-ею, молодые страсти, потолок покрасьте, давай сначала ты сверху, а потом рокируемся, улыбки, съедаемые вместе с поцелуями, хитрые комбинации, долгие маневры, тихие ходы, плеск вина (дешевого, дрянного на самом деле), что теперь, финальная перемена положения, в эндшпиле, учил доктор Тарраш, обязательно ставьте ладью сзади пешки, не опоздать бы на пары, но сколько же у тебя сил! Затем курить (тоже дешевые, дрянные папироски). Лежа на клетчатом покрывале, болтать о любом, о всяком.)

— В следующую пятницу день рождения Ноны, пойдем? — спрашивает она.

— Можно, да! Хотя пока не уверен. У Ноны, наверное, будет Андрей?

— Эм-м, Брянцев?

Ах, опять Брянцев! Брянцев раздражает Кирилл, и Майя это знает, и каждый раз пытается как-то засушить позицию, уверяя, что сама с трудом выносит Брянцева; но эффекта от ее слов немного. Ты с ним так запросто ведешь себя, словно он твой близкий друг, говорит Кирилл и добавляет, помолчав: хотя ты и со всеми общаешься просто.

— Только не с Брянцевым. Он груб и чудовищный невежда, и никакой не лучший друг, тут неточность, я его видела-то в жизни два-три раза, наверное, все у Ноны. Меня, наоборот, страшно сердят именно такие люди, как Андрей, поверхностные, и особенно если глупо бравируют этим. Ну пусть бравирует! Вот только о чем с ним говорить, когда он Шлехтера от Шпильмана не отличает (не буквально, конечно, но ты понимаешь)?

— Да? А мне кажется, у него рождаются иногда оригинальные мысли.

— Ха, так, может быть, ты сам увлечен Брянцевым, а приписываешь мне?

— Спасибо, я счастлив только с тобой.

Сколько лет было этому счастью? — от силы полгода — и оно длилось пока, не думало завершаться, хотя и помимо счастья возникали вдруг дела, вырастали заботы — требовали внимания, решения; требовали трат и усилий (и смертной скуки порой). Что же, студенткам, как Майя, так и надобно наслаждаться жизнью, но аспирантам, как Кирилл, уже следует обретать серьезность, носить документы по кабинетам (и очки на носу).

Так какая у вас тема, коллега?

Темой была «история Берлинской стены», и именно благодаря своим (студенческим еще) исследованиям этой темы Кирилл переехал прошлой осенью в Петербург — из родного Новосибирска. (Ах, Новосибирск, восхищалась Майя

и расспрашивала иногда о жизни Академгородка («Там правда тайга вместо центральной площади и профессора катаются на лыжах?»), но Кирилл мало что мог ей рассказать. Я болел постоянно, говорил Кирилл (голосом почти виноватым), никаких лыж поэтому, и на коньках не умею. Только читал целыми днями (ночами), остановиться не мог, а у отца хорошая библиотека; сначала изучил книжки Суэтина и Нейштадта, потом принялся за собрания сочинений классиков.) Так складывалась партия; талантливый юноша мог остаться в родном НГУ (местная кафедра истории с каждым днем расцветала все краше), звали его писать диссертацию и в МГУ, в Москву, но он выбрал Петербург — и все отлично понимали почему.

Из-за профессора Уляшова, разумеется.

Имя Дмитрия Александровича Уляшова было овеяно легендами; в академических сферах оно произносилось с придыханием и добавлением неперенных титулов: «патриарх отечественной гуманитаристики», «основоположник российской культурологии». Если верить слухам, великолепный взлет Уляшова начался в первые годы Переучреждения, когда его — молодого исследователя, занимавшегося композиторами Российской империи и СССР (Троицким, Куббелем, братьями Платовыми), — неожиданно привлекли к работе в Правительстве страны. Задача, поставленная перед Уляшовым, заключалась ни много ни мало в «корректировке», как тогда выражались, «культурного кода россиян». И Уляшов справился блестяще. Он разработал общую концепцию «новой культуры», детальную «дорожную карту», лично контролировал ход реформ — и с тех пор стал считаться одним из отцов-основателей посткризисной России. На кафедре шептались, что, хотя Дмитрий Александрович и вернулся потом из Правительства в университетскую твердыню СПбГУ, связи профессора с высшим политическим руководством по-прежнему

крепки, а в записной книжке имеются телефонные номера как минимум четырех премьер-министров.

То, что такой человек на девятом десятке продолжал набирать аспирантов, само по себе казалось фантастикой. И уж явной фантастикой был тот факт, что Уляшов прочитал две статьи Кирилла о Берлинской стене и — по-видимому, найдя в них что-то небезынтересное, — предложил ошеломленному юноше свое научное руководство.

Кто бы тут раздумывал?

Так Кирилл отправился в Петербург, где его оформили в аспирантуру СПбГУ («с предоставлением К. Г. Чимахину талонов на питание и места в общежитии») и где он планировал провести три ближайших года в утонченных беседах и искусных спорах с мэтром. Увы, буквально за неделю до приезда Кирилла Уляшов угодил в больницу с инфарктом миокарда. Реабилитация обещала растянуться на неопределенно долгое время; *volens nolens* пришлось искать другого руководителя, которым в итоге стал Иван Галиевич Абзалов — тоже профессор, доктор наук и один из лучших учеников Уляшова.

Научрук Абзалов — это было прекрасно; это было почетно; это было интересно и многообещающе; и это было совершенно не то, о чем успел размышлять Кирилл.

То ли Иван Галиевич чувствовал разочарование Кирилла (и это разочарование его задевало), то ли не очень интересовался именно Берлинской стеной, то ли ему просто не доставало личного обаяния и харизмы, но Кириллу казались невероятно скучными разговоры с этим непрошеным руководителем, и он охотно жаловался Майе на сухость, холодность, ограниченность и даже «узколобость и замшелость» Абзалова. (Э-э, почтенные старцы, берегитесь обманутой в ожиданиях молодежи. Она возведет на вас и не такую напраслину. Кирилл был явно несправедлив к Ивану Галиевичу, который пусть

и вправду чуть скучно, но аккуратно и доброжелательно знакомил аспиранта с тайнами исторической науки. Берлинская стена действительно могла обождать (на диссертацию как-никак отводилось три года). Куда важнее было разъяснить юному исследователю ряд ключевых, краеугольных фактов — фактов, лежащих в основе всей новейшей российской культуры (а значит, и новейшей российской истории, и новейшего российского общества); фактов вроде бы хорошо известных, но на самом деле почти позабытых, затертых до неузнаваемости за пять с лишним десятилетий, прошедших с Переучреждения; фактов, четкого осознания которых требовал от учеников и аспирантов Дмитрий Александрович Уляшов. Абзалов установочные речи учителя помнил чуть ли не наизусть — и передавал их Кириллу практически такими же, какими сам услышал от Уляшова четверть века назад.

В принципе информация не была сложной; для удобства и доходчивости Дмитрий Александрович представлял свою культурно-историческую концепцию в виде четырех коротких утверждений — так называемых постулатов Уляшова. Первый (самый дерзкий) постулат гласил, что именно «новейшая российская культура» лежит в основе настоящего и будущего процветания России. Второй (самый неочевидный) постулат заявлял, что эта «новейшая российская культура» гораздо более молода и более хрупка, чем кажется. Из второго постулата следовали третий (предостерегающий: любые исследования «новейшей российской культуры» должны вестись таким образом, чтобы случайно не нанести ей, слишком еще нежной и слабой, непоправимого вреда) и четвертый (консервативный: исследователи являются не только исследователями, но, что гораздо важнее, также и *хранителями* «новейшей российской культуры»). (На последнем постулате Уляшов, как правило, впадал в торжественный пафос и произносил длинные

вдохновенные монологи, завершающиеся внезапным выводом о том, что ученые всех гуманитарных кафедр страны образуют своего рода тайное «братство посвященных», цель которого — буквально «охранять Россию». Иван Галиевич Абзалов по складу характера не был способен на такие речи (успешно подменяющие аргументацию риторикой), и у Кирилла возникла масса вопросов: почему культура «молода»? почему «хрупка»?

И что такое страшное угрожает России?

Абзалов довольно подробно (и довольно скучно) отвечал Кириллу, рисовал схемы, ссылаясь, заглядывая в необъятную картотеку, на какие-то статьи и подчеркивал, что «постулаты Уляшова образуют связную и логичную систему, позволяющую описывать положение дел в культуре». Но в чем суть системы — так и оставалось неясным.)

Здесь размышляющего Кирилла приводит в себя легкий удар подушкой.

Ах, говорит Майя, из-за твоих жалоб на Абзалова я чуть не забыла сообщить самую главную новость! Кирилл замолкает, глядя на подругу (тишина; только счастье звенит в ушах). Новость, продолжает Майя восторженно, такая: папа рассказал вчера вечером, вышла новая резолюция ООН по России, там отмечаются всяческие успехи страны, и благоприятный прогноз, и... решение снять Карантин на пять лет раньше! Каисса, Каисса! Вот это восклицательный знак! Я так обрадовалась! ООН уже второй раз за пятнадцать лет уменьшает срок. Если они продолжают такими темпами, открытие состоится до конца XXI века. Представь, мы еще сможем увидеть весь остальной мир. О, Кирилл, а если бы Карантин сняли прямо сейчас и у тебя были бы деньги, много-много денег, куда бы ты поехал? Кирилл улыбается: я всегда мечтал увидеть Вейк-ан-Зее. А ты?

— А я бы в Линарес!

— Оу! Да!

Он целует ее, она его, и они замирают, на миг задумавшись, обнимая друг друга, шепча вместе легкое, ласковое, одно на двоих невозможное слово «Линарес», и потом смеются, и пьют вино, и забираются глубже под многоугольное одеяло (столько раз перешитое Майей), и опять начинают какое-то хитрое маневрирование; а на мобильном телефоне Кирилла отключен звук, и Кирилл не знает, что ему уже два раза звонил Абзалов.

Все двадцать (с небольшим) лет своей жизни Кирилл был человеком крайне болезненным; как следствие — домашним; потому — целомудренным. Книжный мальчик с томиками Марка Дворецкого подмышкой, к пряным «зрелым» удовольствиям он начал приобщаться, только переехав в Петербург. Собственно, Майя (рассеянная, веселая Майя) стала его первой женщиной, и тайны *ars amandi**, открытые ею ему, потрясли Кирилла.

Подобно тысячам тысяч других книжных мальчиков во все времена, Кирилл совершенно не мог понять, какие достоинства находила в нем — нелепом и нескладном провинциале — блестящая столичная девушка. Вероятно, именно поэтому он регулярно (и во всех подробностях) вспоминал обстоятельства своей с Майей встречи — словно бы надеясь отыскать в той первосцене ответы на все вопросы. Ретроанализ (раскручивание назад цепочки сделанных ходов) позволял прийти к выводу, что благодарить за нечаянную радость знакомства следует *a)* сухаря Абзалова и *b)* отвратительный петербургский климат. Дело было в ноябре, который выдался чрезвычайно промозглым; на кафедре, как обычно, почти не топили, по коридорам и кабинетам гуляли страшные сквозняки. В таких условиях преподаватели спешили разбежаться сразу по окончании лекций, манкируя бумажной работой, и только Иван Галиевич никуда не уходил, педантично отбывал присутственные часы и разбирал содержимое огромных картотек — в результате чего довольно скоро слег с простудой. Заменяя

* Искусство любви (лат.).

Абзалова, Кирилл вынужден был провести несколько занятий спецкурса по гипермодернизму. Гипермодернизм Кирилла почти не интересовал, но именно на этот спецкурс пришла однажды Майя, собиравшаяся писать диплом о Дьюле Брейере.

Вот тогда и соединились линии, совпали варианты.

(Ничего нового не узнала о Брейере, зато очень многое о Чимахине, — смеялась Майя, лежа в постели. Хвала гипермодернистам, — отвечал в тон Кирилл, — а еще арктическим воздушным массам, режиму строгой экономии топлива и слабому иммунитету Ивана, дай бог ему здоровья, Галиевича!) Эта «гипермодернистская» подкладка встречи немного успокаивала Кирилла; пусть он, тощий, лохматый, чуть косящий глазами, и весной и осенью кутающийся в одну бесформенную кофту, скрывающий застенчивость за излишней горячностью, выглядит рядом с Майей (настоящей красавицей, умеющей очаровывать людей) персонажем почти карикатурным — построения гипермодернистов тоже когда-то выглядели почти карикатурными, но в итоге оказались вполне жизнеспособны.

Впрочем, продолжая сравнение с гипермодернистами, приходилось признать за ними два значительных преимущества — насколько известно, они, отстаивая собственные позиции, никогда не мучились *a)* ревностью и *b)* похмельем. Легкий и рассеянный нрав Майи, ее воздушная общительность причиняли Кириллу множество жесточайших мук (хотя он изо всех сил старался удавить в себе ревнивца); хуже того: злые языки называли причиной такой легкости и рассеянности любовь Майи к алкоголю — что, разумеется, было совершенной неправдой, хотя Майя и ценила сухое (и полусладкое) красное (и белое) вино и, вообще говоря, являлась главной наставницей Кирилла и в этих забавах тоже.

Забавах?!

Пить Кирилл не умел; опьянение не доставляло удовольствия, и всего одного бокала цимлянского было достаточно, чтобы голова с утра раскалывалась на части. Но Майя увлекала, Майя манила, и он шел на поводу у желаний подружки — а на следующий день страдал (скрывая эти страдания ото всех). И если бы дело ограничивалось головной болью! Вместе с ней приходили к Кириллу приступы хандры и откровенно мазохистского самокопания, интеллигентских (в плохом смысле слова) мучений и терзаний. Человек совестливый и умеющий анализировать, Кирилл, как выражались его сверстники, «чуял свой гандикап» — понимал привилегированность собственного положения. Множество одноклассников Кирилла давно добывали пропитание тяжелым однообразным трудом; множество однокурсников — вряд ли менее талантливых, но явно менее удачливых — так и не получили шанса всерьез заняться наукой (которую искренне любили). Страна в целом жила бедно и трудно, экономя почти на всем, кое-как сводя концы с концами, избывая наследие Кризиса, выполняя обязательства, взятые на себя в эпоху Переучреждения. И, несмотря на общий оптимизм, владевший гражданами России последние десять лет, лишь немногие могли похвастаться планами, грезами и мечтами; подавляющее большинство населения тратило все силы для простого реагирования на вызовы повседневности.

Впрочем, в это конкретное утро причина горького раскаяния Кирилла оказалась совсем другой. Проснувшись в десятом часу (соседи по комнате, Ян и Толян, давно ушли), он потянулся к телефону и обнаружил два пропущенных вызова и СМС-сообщение от Ивана Галиевича: «Дорогой Кирилл, перезвоните *asap*. Вас хочет видеть Уляшов».

Ох!

Новость эта была бы ошеломительной и для здоровой головы.

Целую вечность назад, когда только случилась вся история с переездом в Петербург, с инфарктом Уляшова и с появлением (откуда ни возьмись) Абзалова, Кирилл справлялся у нового научрука о возможности встречи с Дмитрием Александровичем. Иван Галиевич отвечал очень неохотно, кивал на запреты лечащих врачей, обещал что-нибудь узнать «немного позже» и — Кирилл был уверен — не сдержал обещания: потому что «не нужно» и «нецелесообразно», и уж коли решено, что работой аспиранта Чимахина руководит профессор Абзалов, а не профессор Уляшов, то и нечего аспиранту Чимахину лезть к профессору Уляшову в обход профессора Абзалова (тем более что таких прытких юных аспирантов много, а Дмитрий Александрович один и еще не выздоровел). С каждым днем подозрение казалось все более справедливым; очевидно, Ивана Галиевича уязвляло стремление Кирилла увидеть Уляшова — и он специально ничего не делал. Осень сменилась зимой, потом пришел март, апрель, угадывался уже впереди конец учебного года, Абзалов твердил те же самые отговорки («врачи пока запрещают»), и Кирилл совсем перестал надеяться (и только сокрушался иногда: ладно уж, не случилось поработать с Уляшовым, но хотя бы разочек пообщаться, хотя бы за руку разочек поздороваться с великим Д. А. У.).

И вот, оказывается, все совсем по-другому.

Кирилл тут же бросается звонить Абзалову: дорогой Иван Галиевич, да, извините, был занят вчера, да, в библиотеке, занимался, телефон без звука, как здоровье Дмитрия Александровича, так рад, очень рад, долго пришлось ждать, спасибо, Иван Галиевич, а когда можно — ах, прямо сегодня? (Каисса!) Да, разумеется, могу, конечно буду, да, адрес записываю, возле «Алехинской», к шести часам вечера, понял, спасибо, спасибо!

Оу, это ощущение открытых линий, распахнутости мира во все невозможные стороны, когда сбывается что-то настолько долгожданное, что уже почти позабытое.

Однако вслед за волной восторга на голову похмельного Кирилла обрушивается и глубочайшее раскаяние. Ему стыдно: он подозревал Ивана Галиевича в мелких подлостях, и непристойно клеветал в душе, и нафантазировал целую сеть обмана, якобы сплетенную вокруг талантливого аспиранта завистливым профессором, когда на самом деле рядом замечательные, порядочные люди, и Иван Галиевич сдержал обещание, и Дмитрий Александрович не забыл про Кирилла, и только сам Кирилл абсолютно не достоин ни внимания, ни расположения, а еще эта ложь про библиотеку, и зачем соврал, трус, лентяй, только гадкий человек станет думать о других гадко, ах, пьяница-ца!

(Что ж, обычные качели, известные всякому, кто бывал в абстиненции.)

Увлечшись самобичеванием, испытывая смешанное чувство благодарности и вины перед Абзаловым, Кирилл вспоминает чуть ли не все разговоры, которые он вел с Иваном Галиевичем за последние полгода, с нарастающей неловкостью прокручивает их в уме, убеждаясь, как тактичен и обходителен был Абзалов и как глуп, дерзок, местами почти развязен в собственных (еле замаскированных под «вопросы») нападениях был сам Кирилл.

Увы, печальная истина, приходится признать.

В беседах на кафедре Кириллу всегда хотелось задеть Ивана Галиевича, уколоть, опровергнуть; выявить якобы «некорректные» мыслительные ходы научрука.

(— Иван Галиевич, а вы ничего не путаете, сам Уляшов так учит? (О, как стыдно Кириллу вспоминать свои речи.) Ну как это может быть, что российская культура «очень молодая»,

ну ведь это же фактически неверно, два вопросительных знака. Куда вы дели творчество Чигорина, Шифферса, Шумова, Яниша, Петрова? Александр Петров родился в 1799 году, двести восемьдесят лет назад — какая же это «молодая культура»?

А что Абзалов?

Суховато отвечал, что пять человек на весь XIX век — это не культура вовсе, но просто одиночки и чудаки, которые, увы, ничего не изменили и ни на что не повлияли. Чтобы культура стала культурой, она должна набрать некую «критическую массу» — людей, идей, книг, разговоров, интересов; в России такая «критическая масса» была набрана только к 2030-м годам, уже после Переучреждения. Кроме того (строго смотрел на дерзкого аспиранта научрук), знаете ли вы, у сколько процентов населения России в XIX веке имелись дома доски? У трех процентов.

Кирилл шел в библиотеку, что-то искал, готовил новые варианты и опять приступал к Абзалову: «Неточность, дорогой Иван Галиевич! Я осведомился о количестве читателей советского журнала „б4“, о тиражах книг Бронштейна и Кереса в шестидесятые годы XX века — там сотни тысяч. Возможно, вы правы насчет Петрова и Чигорина — тогда рано было говорить о российской культуре; возможно, даже в эпоху Александра Алехина и Ефима Боголюбова российской культуры не существовало, но по поводу послевоенного СССР нет никаких сомнений. Люди в очередях стояли, чтобы посмотреть матч за звание чемпиона мира, в газетах задачи и этюды отгадывали, играли в парках на каждой скамейке. Вот уж где „критическая масса“. Так что лет сто двадцать нашей культуре точно есть». Иван Галиевич разъяснял: «Лет пятьдесят нашей культуре, дорогой Кирилл, лет пятьдесят, а то, что вы узнали про тиражи книг Бронштейна и Кереса, — просто особенность советской эпохи, тогда все книги, на любые темы, выпускались

огромными тиражами. Вам кажется, что многие в СССР интересовались культурой, но если сравнить количество этих „многих“ с количеством тех, кто интересовался, например, спортом или наукой, то станет очевидно, что „многих“ совсем немного. Увы, ничем настоящим там еще не пахло — так, нишевое увлечение, род необязательного хобби, форма досуга, едва заметная большинству».)

Утверждения Абзалова, ссылавшегося на Д. А. У., вызывали у Кирилла сильнейшее недоверие — так как резко противоречили всему, что знал и помнил, о чем читал, к чему с младых ногтей привык сам Кирилл. Может быть, Абзалов неверно понимал Уляшова?

— Иван Галиевич, почему вы говорите, будто бы до Переучреждения культура была незаметна большинству? Памятник Ботвиннику на площади Искусств отлично виден всем. А мое общежитие находится возле станции метро «Спасская», открытой аж в 2009 году, когда о Переучреждении не думали вовсе. И еще масса примеров повсюду.

— Кирилл, памятник Ботвиннику водрузили на пятый год после Переучреждения, до этого там стоял памятник, кажется, погибшему дипломату Грибоедину, а станция метро «Спасская» изначально названа не в честь чемпиона мира Бориса Спасского, но в честь церкви Спаса Всемилоственного, когда-то располагавшейся на месте вестибюля.

— Что же, и мозаика с изображением Бориса Васильевича на входе в вестибюль...

— Добавлена после Переучреждения.

Вероятно, для правильной оценки этой позиции Кириллу требовалось разобраться, почему Абзалов (а значит, и Уляшов) так настойчиво связывал «новейшую российскую культуру» с событием Переучреждения России. На первый взгляд, подобная связь не имела смысла — Переучреждение, произведенное

после Кризиса, затронуло только политическую сферу: вопросы территорий, границ, управления страной, новой Конституции и т. д. При чем тут памятник Ботвиннику и переименованная в честь Спасского станция метро?

— Иван Галиевич, ну ладно топонимы, ладно памятники, но ведь культура разлита во всем, люди погружены в нее с раннего детства, с того момента, как начинают слышать речь, как начинают существовать в обществе. Я уж не говорю про школу — там процессы усиливаются стократно: предмет «история шахмат», предмет «теория шахмат», «классики шахмат». Все это бережно и непрерывно воспроизводится десятилетиями: я в пятом классе зубрил наизусть те же самые партии Василия Смыслова, что и мой отец, и мой дед.

— Дорогой Кирилл, вы и ваш отец действительно «зубрили» в пятом классе одни и те же классические образцы — согласно образовательному стандарту, принятому вскоре после Переименования именно в целях создания «новейшей российской культуры». А вот в школе времен вашего деда, уверяю, ничего такого еще не было и даже быть не могло.

— Каисса, что же дедушка учил наизусть вместо партий Смыслова?!

Пренеприятные воспоминания, но хода назад не взять, фигуры не переставить. И все-таки время с сентября по апрель прошло не зря, Кирилл набрался знаний, понимал теперь правоту Ивана Галиевича и уже примерно догадывался о том, как и для чего выстроена система четырех «постулатов Уляшова». А всего через несколько часов в квартире по улице Шумова, 14, он должен был, наконец, увидеть и самого Дмитрия Александровича.

Как раз и голова болеть перестала.

(Путь от «Спасской» до «Алехинской» недолог, хотя и приходится скакать конем через огромные лужи и стремительные реки, в которые каждой весной неизбежно превращаются разбитые улицы города (в Новосибирске шел бы по снежку!). В дырявых ботинках хлопает вода, пальцы ног отчаянно мерзнут, а пальто, наоборот, слишком теплое, слишком зимнее — да что уж поделывать (здесь Кириллу почему-то вспоминаются враки Брянцева про людей, у которых есть целых два пальто: основное и демисезонное). Еще недавно заброшенный и вопиюще бедный, в последние годы Петербург явно облагораживается; Кириллу сравнивать не с чем, но Майя уверяет, что стало больше фонарей и отремонтированных зданий (во всяком случае, на Невском), меньше бродячих собак (в детстве Майю чуть не загрызла дикая свора возле Апраксина двора). Впрочем, говорит Майя восторженно, такие перемены не только в Петербурге, а по всей России. И ладно Майя — она вообще «оптимистка от *a* до *b*», но даже Иван Галиевич высказался однажды (вытащив нос из своих пыльных картотек) лирически: